



Михаил
Полюга

Финалист
Бунинской премии
2015 года

Финалист
премии имени Бабеля
2018 года

Прискорбные обстоятельства



ИНТЕРЕСНОЕ ВРЕМЯ

Интересное время

Михаил Полюга

Прискорбные обстоятельства

«WebKniga»

2019

Полюга М. Ю.

Прискорбные обстоятельства / М. Ю. Полюга — «WebKniga»,
2019 — (Интересное время)

«Евгений Николаевич, что-то затевается, не знаю достоверно что, но... одно знаю: подлянка! Мне кажется, вас взяли в разработку», – тихо сказал опер прокурору, отведя его за угол. В последнее время Евгению Николаевичу и так казалось, что жизнь складывается из ряда прискорбных обстоятельств. Разлаживаются отношения с руководством. Без объяснения причин уходит жена, оказывается бездушной и циничной любовница, тяжело заболевает мать, нелепо гибнет под колесом его собственного автомобиля кот – единственное оставшееся с ним в доме живое существо... Пытаясь разобраться в причинах происходящего, он втайне проводит расследование поступившей информации, а заодно пытается разобраться в личной жизни. И при этом задается вопросом: а не является ли сама жизнь этими прискорбными обстоятельствами? Ответ оптимистичен: обстоятельства приходят и уходят, а жизнь продолжается и все-таки прекрасна. «Нет, все-таки мужчина любит глазами! Вранье про любовь желудком придумали тупые жлобы, у которых атрофировались четыре из пяти органов чувств. В прозрачном лунном свете я вижу ее всю...». Порадуйтесь и вы вместе с героем.

Содержание

Часть первая. Презумпция вины	6
1. Февраль	6
2. Снег	10
3. Бульвар	14
4. Парк	17
5. Мост	20
6. Зарипов и другие	23
7. Автомобиль	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Михаил Полюга

Прискорбные обстоятельства

© М. Ю. Полюга, текст, 2019

© «Время», 2019

* * *

Часть первая. Презумпция вины

1. Февраль

Вот уж две недели, как солнце скрылось за облаками. Дни стояли тусклые, бесцветные, свет рассеивался, точно через слюдяное окошко. И оттого, наверное, с каждым днем все сильнее донимала странная немочь: бессилие – не бессилие, тоска – не тоска, – как если бы жизнь уходила по капельке, как если бы вовсе не надобно было никакой жизни.

Стояла вторая декада февраля. Еще в январе снег сошел и настала мучительная неопределенность: с рассветом размякало, и от волглой земли стылым паром поднималась влага, сползались отовсюду туманы, и оттого было вокруг серо, грязно и беспросветно; к вечеру же пускался из ложбин ветер, подмораживал наст, волок невесть откуда, из рукава, просыпавшиеся снежинки, искусственные и как бы несвежие, без запаха, будто не снежинки это были, а выкрашенная в белое пыль.

Дома, деревья, столбы, мостовые сливались в одноцветье, в унылую гамму плесени: желто-серое, грязновато-серое, выцветшее, как старое пальто в заплатках. Небо едва светило, как в долгую полярную ночь. Звезд по ночам тоже не было. Вот уже несколько бесснежных лет все это называлось коротким и теперь уже обманным словом: зима.

Мне было плохо и печально, я был убит этой зимой наповал. А если не убит, то выведен из равновесия, слаб и немощен, я постоянно хотел спать, но едва закрывал глаза – сон не шел, взамен наваливалось сомнамбулическое состояние отрешенности: мне было все равно, где я и что со мной происходит. И в то же время ничего особенного со мной не происходило, если не считать неумной волчьей тоски; но и тоска, казалось мне, была всего лишь приметой февраля, приметой непохожей на самое себя зимы.

Такое состояние объективно сказывалось на ходе самой жизни. По утрам я долго приходил в себя, был разбит и измучен трудно уходящей ночью, долго лежал в постели с закрытыми глазами и тяжестью в области сердца и ни о чем не мог думать – только несвязные обрывки миновавшего бытия проносились передо мною. Все, что было прожито, казалось пустым и напрасным, а преходящее не сулило избавления от напрасности прошлого.

Затем я трудно выпрастывал из-под одеяла ноги, заворачивался в халат и шел по дому – из комнаты в комнату, раздергивая по ходу пыльные шторы и впуская плесенный свет зябнувшего за стеклами полуобморочного сада. Свет нехотя тек сквозь дымчатый тюль, по подоконнику, напелзал на письменный стол, кресла, густо размазывался по паркету и наконец всплывал к лицу сизым табачным облаком.

«Кажется, еще рано, – думал я, тщетно борясь с состоянием разбитости и дремоты. – Пожалуй, пойду лягу...»

Но на обратном пути звуки, будто кто-то высаживает дверь, заставляли менять планы: со двора ломился в дом кот Абрам Моисеевич, названный так в честь покойного моего приятеля, человека во всех отношениях достойного и порядочного, в отличие от этой сволочи кота. Кот был выпущен вечером на свободу как особь, не приученная ловить мышей и мстительно метившая в доме углы, и вот теперь изволил прибыть к завтраку.

– Знал бы Абрам Моисеевич, как ты без него испаскудился! – отпирая дверь, злобно грозил я коту. – Еще раз, сволочь, нагадишь – убью!

Кот отзывался нечленораздельно – небрежным хриплым баритоном, по пути к холодильнику, где – он точно знал – припасена была ливерная колбаса и десяток молочных карасиков, поставляемых специально для Абрашки рыбаком-соседом.

– «Февраль. Достать чернил и плакать...» – неторопливо ошкуривая шмат колбасы, декламировал я протяжно и гнусаво – назло коту, шалеющему от стихотворной речи.

– Мяу! – ответно орал кот, зыряя желтыми разбойничьими глазами, выпускал коготки и нетерпеливо торкал, цеплял меня за полу халата.

Наконец, вытребовав свое, наглая животиная с увесистым колбасным шматом в зубах ускользала за табурет и угрожающе рычала на меня оттуда.

Затем я отправлялся к волнистым попугайчикам, Глаше и Гоше, всякий раз поднимающим тарарам, когда у них на глазах кормили кота, сыпал им зерно, чесал пальцем тщедушную Гошину грудку, а тот небожно грыз меня за палец.

– Ах ты подкаблучник несчастный! – бормотал я Гоше, с улыбкой припоминая, как купленная ему в пару Глаша, наплевав на приличия, в первую же минуту знакомства загнала неумелого дурня в угол и по-хозяйски взгромоздила лапу ему на спину. – Сейчас тебе женка покажет...

Опосля наступало мое время. Я плескался холодной водой в ванной, нехотя брился, натягивал брюки – и в зеркалах то и дело мелькала кислая физиономия немолодого человека, слегка бульдожья, с узкими глазками и просвечивающей ото лба к затылку плешью. В эти мгновения я был противен себе, не хотел узнавать себя такого и бурчал зеркалам с ненавистью: «У, кацапская рожа!», точно и в самом деле внешность моя переменилась и с возрастом я все больше стал походить на курносый материнский клан из казанских россиян. А ведь смолоду больше походил на отца: был узок лицом, тонок губами и прям носом.

После с неприятным привкусом во рту, каковой случался в последнее время после сна, я выпивал натошак пять сырых перепелиных яиц – один идиот сказал, что мужчинам в моем возрасте сие показано весьма и весьма, а я и поверил, полоскал рот какой-то разрекламированной дрянью, чистил облысевшей щеткой накуксившиеся ботинки.

– «...сладкие сны, дивные грезы весны», – пел я при этом фальшивым тенором, впрочем, без особого энтузиазма, пробуя голосовые связки после перепелиных яиц.

– Мяу! – вторил мне из кухни кот, дожирая колбасу.

Но минут через десять, одевшись, я вдруг спохватывался: не слышно кота, кот подло притих – значит, метит где-нибудь угол!

– Кис-кис! Иди, дам молока! – тянул я, усахаривая голос.

Через мгновение тишины раздавался грохот, кот стремглав ломился из гостиной в кабинет и там затаивался, скотина. И откуда коту было помнить мой характер? Однако же – помнил! Под едкие запахи кошачьей метки я вооружался шваброй, несся в кабинет и неистово орудовал ею под диваном.

– Мяу! – злобился кот, не сдаваясь, потом позорно пытался бежать, но бывал пойман за шиворот, обмокнут носом в собственную лужицу и безжалостно выкинут из дома.

«И поделом! – думал я, ополаскивая руки. – Одно только интересно: умышленно пакостит или тварь сия безмозгла, а потому – безответственна?»

Наконец я выбирался из дома – из тепла в промозглый февраль, ежился, нахохливался, по-черепашьи втягивал под шарф подбородок, щурил глаза на скудном утреннем свете, будто сослепу.

По давней традиции я сначала огибал угол дома и выходил в сад. Там все было серо и печально, как и бывает в эту пору года: поникшие яблони и груши, жеваная подгнившая травка на дорожках, остов обезводившегося в прошлом году колодца, древний орех с зубчатыми обломками там, где некогда были могучие ветки.

«У человека – инфаркты, у деревьев – надломы, – гладил я ореховую кору, старую, в глубоких морщинах и наростах. – Все, что случается на веку... Ничего не проходит даром...»

Еще я зачем-то заглядывал в колодец – там было неглубоко, каких-нибудь пять или шесть железобетонных колец, сухо и пыльно, дно было устлано остатками ореховых листьев, из коих

высовывалась неизвестно как проскользнувшая сквозь звенья металлической решетки одинокая ветка. Еще один мир, колодезный космос, вселенная со своими законами и правилами бытия-небытия!

– У-у! – гудел я в этот провал и вслушивался.

Но колодец в ответ безмолвствовал – ни отклика, ни эха, ни движения воздуха, как и положено заброшенной мертвой планете, спящей миллионы лет – и еще одну осень и одну зиму.

И оттого мне становилось еще более тоскливо и одиноко. Я шел из сада, как уходят с поля боя, растеряв людей и знамена, а за спиной слетались уже вороны...

Улицами и закоулками я шел на бульвар, и во мне было пусто и глухо, как в высохшем колодце. Мне было жаль колодца – его выкопал некогда, задолго до моего рождения, дед, и, сколько себя помню, был этот колодец не чищен и полон темно-зеленой стоячей воды. В прошлом году я наконец взялся за него: вычерпал воду, очистил дно от песка и ила, – но вода тут же ушла, необъяснимо и странно. Как говорится, благими намерениями... А может быть, это наказание за какой-нибудь мой грех, давний и неведомый мне до срока?

Бульвар – мое любимое место в городе. Два ряда деревьев с расхристанными вороньими гнездами, умолкнувший фонтан с замусоренным дном, давно не крашенные скамейки, относительное безлюдье – так покойно бывает еще только на кладбище или в сквозном лесу на поляне. И напротив, меня бесят базары и вокзалы. И отвращают больницы. Недаром, думаю я, животные и птицы уходят умирать или зализывать раны в потаенные уголки, с глаз долой, а людей свозят в одно отвратное место и приходят смотреть на их агонию, словно в зоопарке глазуют на приморенных обезьян.

Впрочем, сие – эмоции, а ведь бывает еще жизненная необходимость...

И вот я шел по бульвару, подняв воротник и засунув руки в карманы. Безветренно, пыльно, бесснежно, градусник, наверное, на нуле. Я шел и думал: хорошо жить на свете, но и очень печально. Через какие-нибудь пятьдесят лет меня не будет, и это печально; но не менее печальным было бы, будь все это вечно: работа, сухость во рту, боль в спине, необходимость жить и общаться. Наверное, правильнее всего было бы даровать каждому возможность *выбора!* Выбора – жить или умереть, по крайней мере. Выбора мгновения, когда *это* настанет. Безболезненного выбора, как у гиперборейцев, когда смерть наступает только от пресыщения жизнью. Думаю, в таком случае и перенаселения не было бы – не такая у нас светлая жизнь, чтобы цепляться за нее изо всех сил! Но выбор – за пределами наших возможностей и потому мучит недостижимостью, как и все на свете, что нам не дано.

Но я, как всегда, отвлекся, – а ведь я шел по бульвару, солнца не было вот уже две недели и потому казалось: силы из меня уходят – с каждым мгновением этого проклятого февраля. Мне все больше хотелось вернуться домой и лечь в постель – так наваливалась и давила утомленность прожитой уже жизни.

«Господи, а что же тогда впереди? – думал я и об этом тоже, точно впереди ничего хорошего уже не ждало меня. – Все одно и то же, и завтра будет то, что было уже вчера. И люди будут такими же, только вырастут другие дома и деревья. И бульвар, может статься, исчезнет – а люди все так же будут ходить здесь, жить и умирать, и все будет однообразно, как круговорот воды в природе».

В кофейне я раздевался и садился у окна – за стеклом, отделяющим меня от бульвара. Здесь было тепло, ненавязчиво звучала музыка. И бульвар оставался рядом со мной – протяни только руку и коснешься какого-нибудь предмета – ветки, дерева, облицовочной плитки фонтана, – но вместе с тем становился как бы виртуальным, будто недавнее прошлое, будто мгновение, только что миновавшее.

«Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от самого себя ушел...»

Там, в недавнем прошлом, из невидимой мне тучи вдруг посыпались, полетели редкие продрогшие снежинки, *здесь*, сейчас, пахнуло от чашки густым горячим кофе. Все смешалось, с каждым мгновением что-то уходило и взамен тут же приходило новое; и это непреднамеренное течение оставалось непрерывным, неожиданным, и звалось оно просто: жизнь.

Новый день начинался – а старый все не заканчивался во мне...

2. Снег

Признаться, ежедневный утренний кофе, да, собственно, и само посещение кафе с претенциозным названием «Роза пустыни» со временем стало для меня своеобразным ритуалом, – впрочем, как и езда на автомобиле, и чтение по вечерам. В остальном день мог различаться, – но не выпить чашечку кофе, не прокатиться из пункта «а» в пункт «б» и в который раз не перечитать на ночь прозу Бунина или Казакова... Само собой, ритуал рано или поздно должен был перерасти в нечто большее – в образ жизни, а образ жизни – породить *предвосхищение* предстоящего действия: пути от работы к бульвару, размеренности шага, все тех же неровностей асфальта, скамейки, на которой часто сидел потерявшийся в жизни старик и жевал, жевал деснами мякиш хлеба, соскальзывающей по диагонали с фонарной дуги к земле голодной вороны, мерных колебаний макушек лип в вышине, крохотной, дымящейся коричневым пойлом чашки, разделения на *там* и *здесь*, прочерченного витринным стеклом. Душа моя с раннего утра ждала и *предвосхищалась*. И уже *здесь*, глоток за глотком, предвосхищение постепенно оборачивалось умиротворенностью: все идет так, как заведено, как должно идти!

А тут еще полетели снежинки – сначала редкие, мимолетные, затем за окном словно вспорхнула белоснежная тюлевая занавеска, и все замерехтело кругом (точнее украинизма «замерехтело» и не отыскивалось теперь). Все законное как бы исчезло, укрылось за снежной ретушью, тогда как пространство кафе, напротив, съезжилось, сжалось – и я оказался один на один сам с собою. Так в детстве, забираясь под стол и занавешиваясь, отгораживаясь от окружающего мира каким-нибудь покрывалом, внезапно ощущаешь таинственную и упоительную отрешенность одиночества, уют и неожиданный покой для души. Кто я, что я, зачем? – не это мучит, а нисходит внезапная благодать единения со временем и пространством, мысли растворяются в ощущениях и чувствах, и оказывается, что быть частицей чего-то вседвелеющего удивительно, приятно и хорошо.

Снег... Деревья... Бульвар – почти пустой, со снегом наискосок, из темного – в светлое... Утренний полумрак кафе... «Меня. Ничто. Теплое. Не коснется. Покроюсь инеем...» Кофе стынет, светло-коричневая пленка поверху напитка превращается в бурю... Горечь во рту не сладостна, но привычна – как данность... Предощущение, перетекающее в *сейчас*...

Девушка у стойки, пообвыкшаяся здесь, приноровившаяся ко мне и к моему ежедневному ритуалу и потому, наверное, кажущаяся равнодушной, вопросительно поднимает бровь: еще чашку? Естественно, всенепременно – еще этой горькой, невкусной, бодрящей дряни! Девушка молода и некрасива и в то же время красива своей молодостью, плоским животом, молочной кожей, взглядом, за которым – предложение и вопрос. Девушка – в начале жизни, еще не истоптана, еще в уверенности, что не по ней катит каток бытия – это она идет в светлое будущее, легко и свободно. Она еще не раздавлена безжалостным колесом... И в этом незнании истинной стороны ничтожного существования человеческого – ее прелесть, как в цветке, который только готовится распуститься.

Как мне хочется порой возвратиться в это *незнание*! Куда там! Давно уже я законченный циник и пессимист, хотя изредка хожу в церковь и во что-то непознанное и призрачное якобы верую, – и однако же истинная вера никак не вяжется с такими «добродетелями», и оттого в храме мне всякий раз немного не по себе. То есть я маятник, я слабovolный тип с колеблющимся, неустойчивым мироощущением, смеющийся над тем, во что очень хочу поверить.

– Приятного аппетита! – меняя чашки, говорит мне девушка – точно в пустое пространство.

Вблизи она кажется еще некрасивее – незавершенный, торопливый слепок с природы скульптора-недоучки: узкогубый рот, приплюснутые крылья носа с навсегда въевшимися светло-коричневыми веснушками, невыразительные бесцветные глаза, кудряшки волос над

ушами. Смазанная, незапоминающаяся, безликая внешность. Едва отвернулась, а уже не можешь вспомнить – *какая*.

Интересно, кто ее любит по ночам, какова она в постели: стыдлива, или, как теперь принято, развязна, готова на все, и есть ли у нее принципы, доверяет ли чувствам или ищет денег? Живет она чем, что интересно ей, а что проходит мимо нее – любовь, книги, истина? Главное для нее заработок – или еще что-то ей нужно?

Чем дольше живу на свете – тем больше проскальзывает мимо меня людей пустых, не наполненных высшим, в моем понимании, смыслом бытия. Вот и девушка эта – можно ли, разливая в кафе коньяк и ежеминутно отвечая на пошлости посетителей, любить, положим, Чехова? Хотя, признаться, знавал я заслуженных учителей-филологов, знакомых с Чеховым исключительно по хрестоматии, – и что с того? Что плохого в том, что по утрам подает мне чашку кофе юная девушка с пустыми глазами, если в этих глазах нет, положим, ненависти или утомленности после навсегда угасшей любви?

Поколебавшись, я заказываю вдогонку пятьдесят граммов коньяка и бутерброд с красной икрой – не оттого, что люблю коньяк или заимел барственные замашки, просто уходить не хочется, а дремать над замерзающей чашкой с остатками кофейной гущи как-то не с руки.

Кроме того, в кафе заходит еще один постоянный клиент – вальяжный, лощеный, на грани увядания тип со странной, сродни замысловатому ругательству, фамилией Геглис, невидяще кивает барышне у стойки, а в мою сторону с презрительной вежливостью шевелит густыми гусеничными бровями.

За этим Геглисом интересно наблюдать: всегда он изысканно одет, наглажен, от него разит дорогим одеколоном, и, главное, всякий раз он приходит с какой-нибудь женщиной или девушкой, и эти сопровождающие дамы редко повторяются у него. Видимо, зарплата профсоюзного деятеля, каковым вот уже много лет бессменно является этот Геглис, а также умелое распределение профсоюзных путевок позволяют этому типу пить по утрам коньяк и обещать глупым напомаженным курам манну небесную, – думаю я с некоторой долей зависти. И хоть профсоюзный деятель неплохо смотрится в его годы – даже в компании с такой юной мордашкой, как у сегодняшней спутницы, я невольно принимаюсь отмечать в нем изъяны и недостатки, как то: пошло щелкает пальцами, подзывая сонную официантку, и после долго обдергивает и выправляет задравшийся рукав пиджака, и брови у него стариковские, клочковатые, кожа пергаментная и желтая, со складками, а из ушей и носа торчат проволочные перекрученные волоски...

– А-ха-ха! – сдержанно смеется девушка, и из-под ресниц, соскальзывая с Геглиса, на меня вдруг выплескивается секундный заинтересованный взгляд – как бы ненароком, случайно, ни о чем и одновременно о многом говорящий.

Я немедленно втягиваю живот и прячу глаза за коньячным бокалом – так легче наблюдать, оставаясь незамеченным. Что-то неуловимое знакомо мне в ее взгляде.

«Точь-в-точь Анна! Ее глаза, – через мгновение-другое беззвучно восклицаю я. – Или у них у всех, молодых, один оценивающий взгляд: не прогадала ли? может, переметнуться, пока не поздно?..»

Восклицаю, немедленно припоминая свое, сокровенное, – ту «блудницу с монашеским обликом», которая зовется Аннетой, Анной, Аннушкой, любит в себе поразительное сходство с молодой Ахматовой, такие же гибкость стана и профиль, и которая вот уже год как принимает меня в своей обители, удерживает за полночь и нараспев декламирует после акта плотской любви: «И загадочней древних ликов на меня поглядели очи», – единственное, на мой взгляд, стихотворение поэтессы, достойное внимания потомков...

«И однако же как они все похожи, пока молоды!»

И эта туда же... Что она нашла в пыльном молодящемся чучеле по фамилии Геглис? Какая все-таки дисгармония – сейчас только сорванный, в утренней росе, цветок соседствует в

вазе с цветком увядающим, позавчерашним! У нее удивленно-наивный взгляд девственницы, осознанно готовящейся к пороку, просчитывающей в уме барыш от предстоящей ночи, на ней высокие сапоги, в каких некогда щеголяли на Западе проститутки, и короткая юбочка, у нее умопомрачительные коленки, выставленные напоказ как самый ходовой товар. Нет, все-таки я наговариваю на нее от зависти к Геглису: у девушки красивая неглупая мордашка – может быть, оттого неглупая, что я не слышу, *как* и *что* она говорит.

А вообще-то, хорошо жить на этом свете – в отдельные мгновения бытия!

И мир за окном удивительно красив, думаю я неспешно, насытившись соглядатайством, и наконец сполна окунаюсь в ощущения иного порядка – в солоноватый привкус икры и спиртной коньячный дух в пузатом бокале. Как целомудрен и свеж снег! Как меняется ощущение жизни, едва застит по бульвару белым, а в редких прорехах облаков вдруг искренне блеснет голубым! Как, вероятно, влажны ресницы и брови у женщины, пересекающей дорогу от бульвара к кафе, и как нечаянно счастливы ее глаза! Господи боже мой, вот оно, счастье! В случайном мгновении, от которого ничего не ждешь, в отключении от осознанной жизни, в уходе в бессознательную природу естества. Лишь только начнешь размышлять – и конец, мысль пожирает очарование жизни. Мысль всегда алчна и конечна, бессмертной душе с нею не по пути. Но здесь-то и тупик, я сам себя загнал в силлогическую ловушку: мне не интересна бессмысленность существования, сие есть минутная слабость, за которой последует не «какой снег за окном», а «что для меня этот снег».

– Не хотите выпить со мной коньяку? – неожиданно для себя подозвав жестом официантку, спрашиваю я, хотя наперед знаю ответ: запрещено с посетителями... не пью на работе... камеры наблюдения...

– Заберите меня отсюда, – вдруг говорит она подсевшим, странно сырым голосом, точно плакала минуту назад, и по ее глазам я понимаю: она, как и я, наперед знает – никуда не заберу, это тот случай, когда слова не облакаются в дело, просто выплеск эмоций, авитаминоз, солнечное голодание, неожиданный снег за окном...

Вот оно, думаю я, совпадение противоположных начал, когда посыл разный, а результат один. Такие мгновения сближают людей непохожих, друг другу чужих и чуждых, и после они недоумевают: как это угораздило, зачем?

Ну где ты, Геглис? Не тебе одному топтаться по юным клумбам...

Я улыбаюсь и отечески киваю: да, милая, сейчас поедem, вот только допью коньяк и дожужу бутерброд; в ответ она вздыхает, морщится, будто просыпается в чужой комнате, и идет за стойку, уже забыв обо мне, тупо подчиняясь ходу времени и обстоятельствам обыденной жизни. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана...» И ничего не меняется, все как было прежде и как будет впредь, и хотя говорят: нельзя дважды войти в одну реку – река все та же, а перемены незаметны для глаз, и вообще – существуют ли они, эти перемены, для живого, сущего? Время стоит – это мы безвозвратно сквозь него пробегаем...

Я неспешно вдыхаю аромат из бокала и пью, глотаю маленькими глотками – в последние годы коньяк противопоказан моей печени, но все так же ложится на душу, – и тут уж я ничего не могу с собою поделать. Счастье – это, как правило, сиюминутное, мимолетное, необратимое: внезапный снег над бульваром, рюмка коньяка, глоток воздуха, случайная связь, строчка стихотворения, забытая мелодия, эпизод фильма, воспоминание о былом, улыбка ребенка... Выходит, я счастлив теперь, в эти мгновения бытия, – или это счастье обманчиво, как сновидение, и я сплю наяву? А когда пробуждаюсь, возвращается обыденная жизнь с несправедливостью, обманами и унижениями, разочарованиями, болями, растянутым во времени умиранием, наконец, смертью?

«Жил-был я. Стоит ли об этом?..»

У Трифонова есть повесть «Предварительные итоги». Как и все его повести – о тщетности бытия. Если подвести итоги моей жизни на сегодняшний момент – в целом она ничем

замечательным не наполнена. Но если расчленить на мгновения... Вот как сейчас... Действительно, не в том дело, что я где-то учился, работал и работаю теперь, что построил и обиходил дом – дело в том, как пахли липы за окном института в какой-то из дней моей жизни, как впервые пришел я к любимой женщине и ушел за полночь, какие у нее были необыкновенные, неповторимые глаза и волосы...

Черт с ней, с печенью! Я пью, и питье наполняет теперь мою жизнь смыслом. Пока я могу делать то, что делаю, пока идет снег из ситцевой тучи, и оттого сгустился вокруг меня полумрак, за стойкой горит тусклая лампа и у незнакомой девушки пляшут по щеке желто-лимонные отблески – что-то во мне длится, какой-то свет, продолжение бессмертного «я»...

Но наконец коньяк выпит, бутерброд съеден, а уходить не хочется, – вот только официантка уже изготовилась у кассового аппарата, неприлично засиживаться, мы не на Западе, а Геглис все воркует, сволочь, и такое прочее, закономерности жизни...

– Приходите еще, – говорит официантка сквозь меня, и я вдруг думаю: какой она ребенок по сравнению с моими годами, а ведь сказала «Заберите меня отсюда», значит, что-то во мне еще не отталкивает, а напротив...

– Всенепременно! Сдачи не надо.

Я неловко кланяюсь, и тут девушка впервые осмысленно смотрит мне в глаза, но во взгляде этом отнюдь не то, что польстило бы моему самолюбию. И пусть, и ладно. Хотя, если предложить энную сумму...

«Старый, отвратный козел на капустной грядке!»

3. Бульвар

Я выхожу в снег – и мягкие прохладные прикосновения снежинок к лицу пробуждают во мне давно забытую нежность. «Очарованье! – думаю я, запрокидывая голову. – Очаровательный бульвар. Очарованье. Слово-то какое – из погаснувших лет, из забвения, издалека!»

Снежинки мелкие, густо сваливающиеся по диагонали, пронизывают сквозное пространство крон – преимущественно тополей и лип, мягко ложатся на ресницы и брови. После двухнедельной серости и пыли – чистый день, ощущение младенчества и невинности, как после отпущения грехов в храме. Как выстиранные простыни, прихваченные морозом. Или как нетронутое, девственное озеро после очищающей адским жаром парной.

Господи, да святится!..

Бульвар тянется, по-кошачьи выгибаясь позвоночником, к парку, а там река между крутых каменных берегов, через реку – головокругительная дуга пешеходного моста. В каждом городе, где бы ни был, я отыскиваю бульвар, и когда нахожу – точно благодать Божья нисходит на душу. Ни лес, ни река, ни море не ощущаются душой так, как место моего обитания на земле. Я человек города, тихого провинциального городка с кривыми улочками, неширокими тротуарами в асфальтовых выбоинах и трещинах, с пучками ржавой травы у просевших от времени фундаментов и заборов, с древней церковью на возвышении и непременно бульварным пробором в центральной части, где растут каштаны, липы и тополя, чинно сидят на скамейках старики и старухи, обнимаются и целуются напоказ влюбленные, носятся за голубями дети, дремлют и беззубо жуют бомжи с потерянными глазами, бродят бездомные, брошенные человеком собаки. Здесь – многое из того, что питает меня ощущением непреходящей жизни, место созерцания и покоя, где мысль соприкасается с чувством. Здесь, наконец, я изредка бываю в ладу с самим собой.

Собственно, а кто такой я? Откуда взялся, за какой надобностью? Я не помню прошлого, оно только снится мне иногда. Значит ли это, что я не жил прежде и до моего рождения все в мире происходило без моего чувствования и участия? Право, непостижимо! Но многожды непостижимее то, что и после смерти все будет происходить без меня. Или где-то душа моя продолжит существование, может стать, в ином облике, смутно вспоминая обо мне как о ком-то нереальном и бестелесном?

Тут мне становится грустно, и, чтобы не походить на брошенного пса с опрокинутыми вовнутрь слезящимися глазами, того, что роется сейчас в мусорной урне, я усилием воли переключаюсь на то, что вовне.

А вовне все так же идет снег, вокруг бело и прохладно. У кафе «Старый город», за глаза именуемого «Хромой лошадь», где по вечерам собираются опрокинуть рюмочку и выкурить сигарету дороге проститутки, студенты расположенного неподалеку агроэкономического университета в перерыве между учебными парами наскоро жуют хот-доги, курят и пьют из бутылок пиво. У многих синие от холода носы и губы, кое у кого – затрапезный вид, точно у безработного бруклинского негра, – увы, и к нам добралась эта никчемная американская мода, когда на тебе не то разношенный спортивный костюм с мешком-капюшоном, не то спецовка разнорабочего не по росту. Проезд по сторонам бульвара закрыт, и студенты заполонили дорогу, точно крикливая стая ворон, но нет-нет какой-нибудь водитель нагло проезжает под запрещающий знак и припарковывается вдоль тротуара, – еще одна примета времени, когда многие открыто пренебрегают существующими правилами и законами. Студенты во время лекций пьют, водители не соблюдают правил, пешеходы переходят дорогу, где вздумается, как священные коровы в Индии. Как говорил персонаж какого-то фильма, все мы живем в стране непуганых идиотов...

Расслабленной походкой я перехожу дорогу, и у меня за спиной вдруг лихо проскакивает под запрещающий знак и припарковывается у входа в кафе серебристый «Лексус». Чтoб тебя! Невольно я вздрагиваю, ощущаю между лопаток сквознячок, но в то же время меня охватывает неистребимая тоска по автомобилю: хочется немедленно сесть за руль и ехать, ехать, ехать. Но я знаю, что при моем образе жизни пеший ход – панацея от многих бед, и потому усилием воли ускоряю шаг: прочь, прочь! – от инфаркта, инсульта, гиподинамии, от ноющей боли в коленках, от склеротических бляшек в сосудах, от всяческой иной дряни, подло донимающей всех нас на исходе жизни.

Кто бы мог подумать, что в таком возрасте я буду спасаться ходьбой от старческих болячек, хотя, по моему глубокому убеждению, для меня еще не прошла пора волочиться за женщинами, кутить с ними в кафе и ресторанах, отплясывать рок-н-ролл и возвращаться домой на рассвете. Но это – как мысли о смерти, которая случается с другими, но для меня никогда не наступит. Ах, а ведь совсем недавно я был еще горяч и подвижен! И вот молодость ушла, а чувство, что все еще впереди, осталось. Парадокс, да и только! Оптический обман сущего, иллюзия бессмертного «я». А в итоге все будет, как и всегда было. Без исключения. Без жалости. Без снисхождения к тем, кто, возможно, достоин иного...

Так, может, не ползти по бульвару, а ухватить за хвост улетающую жизнь и нестись, мчаться в вихре событий и чувств, пока не расшибешься где-нибудь на повороте – раз и навсегда?! Как этот молодящийся Геглис-шмеглис... Взять с собой Аннету – и в Карпаты. Или на юг: зимнее море, обледелый пирс, живое женское тепло под доступной кофточкой, прерывистое дыхание, бесстыдные губы... Если конец один, то – ярко и со вкусом, а не затхло, в подштанниках и с горшком под кроватью... Эх-ма! Безмозгло, скучно, однообразно, безнадежно устроен человек: когда есть силы и молодость, он приготавливается жить, а едва приготовился – уже, в сущности, ничего не может...

По бульвару наискосок, по направлению к управлению внутренних дел, тараканьим ходом побежали сотрудники управления службы безопасности; им навстречу, растекаясь по закоулкам и кафе, рванули оперативники управления по борьбе с организованной преступностью. Две конкурирующие службы располагались по обе стороны бульвара, по своеобразной диагонали, и после ежедневной пятиминутки, как всегда взмыленные и пропесоченные, опера неслись «на отходняк»: выпить кофе с коньяком и выкурить сигарету, в ближайшей подворотне «перетереть» с нужным человеком, озадачить шкурным вопросом перепуганного бизнесмена, слить информацию друг другу.

– Здравствуйте, Евгений Николаевич!

– Евгений Николаевич, кофейку?

– За компанию... А, Евгений Николаевич?..

Я важно, с достоинством киваю, не поворачивая головы и поджав губы, порой сдержанно улыбаюсь тем, кто мне симпатичен, но опера не моего поля ягода. И пусть сегодня суббота, у меня выходной и я мог бы позволить себе не тащиться на работу, а расслабиться за чашкой-другой... Нет, близкие мне по положению и духу люди сегодня в отъезде, а пить с кем ни попадя – дурной тон пролетающих по жизни впустую, ничего путного не добившихся неудачников, наподобие засидевшегося у меня в старших прокурорах отдела Павла Павловича Мешкова. Этот хоть и добрый малый, но живо намешал бы в компании с каким-нибудь опером водки с пивом!

А еще томление духа и какая-то неистребимая горечь – февраль и снег, февраль и снег – увлекают меня, точно в черную слепую воронку, прочь от шума и суеты – все вниз и вниз по бульвару.

Я пересекаю перекресток и иду по последнему отрезку бульвара, за которым – хаотически перечерченное заскорузлыми, дрожащими от холода ветвями пространство парка, грязновато-черное с белым.

«Вот так, положим, бесцельно шел бы человек моего положения, моей наружности, с моими комплексами и недостатками – вполне невинный, утомленный жизнью человек, и вдруг произошло бы нечто из ряда вон, – думаю я, безуспешно пытаюсь побороть все-таки привязавшуюся исподтишка меланхолию. – Послышались бы за спиной торопливые шаги, позвал бы какой-нибудь робкий голос, малознакомый, так, нечто смутное, дальние ассоциации... Как-нибудь так позвал бы: «Евгений Николаевич!..»

– Да, дорогой?

– Евгений Николаевич, если можно – на два слова! Только где-нибудь в стороне... Я Арапов, из отдела по борьбе с коррупцией. Вы меня, наверное, не помните, – я всего несколько месяцев, как в отделе...

Арапов? Какой такой Арапов? Не помню никакого Арапова!

Я делаю удивленные глаза и в то же время недовольно нахмурываю брови, складываю ижицей губы, с усилием вдыхаю ноздрями прохладный воздух: мол, какого лешего тебе, Арапов, от меня надо – в субботу, да еще не по чину?!

Опер округлый, чернобровый, похожий на правоверного татарина, приготавливающего бешбармак: руки бегают, в глазах – затравленность новичка, трудно привыкающего к каждодневным разносам и матерщине. И еще страх: как бы кто не увидел и не донес до начальства о преступной инициативе «снизу». С доносительством у нас и в самом деле порядок: как же не доносить, ежели служба велит?! Свои же и донесут! Хотя о чем, собственно, речь? Говорят, на Западе стукачество давно уже стало доблестью, а у нас все еще как бы постыдно. Другое дело негласно – приятно и, главное, полезно кое-кому нашептывать на ушко...

Так в чем же дело, Арапов?

Опер по касательной наконец ловит мой взгляд и тут же уводит глаза в сторону и просительно взмахивает бровями: мол, пойдём спрячемся от греха... И сам же семенит в сторону, в боковую парковую аллею, к детской площадке, где в праздничные дни дамы определенного толка любят выпить и закусить на природе с незнакомыми мужиками. «Эй, мужчина! – в какой-то миг припоминаю я зазывное воркование одной из таких дам, плывущее от скамеечек, качелей, маленьких деревянных домиков. – Выпить не хотите? Все-таки праздник...» Надо же, сколько всего схлынуло и забылось, а это вдруг вспомнилось!..

4. Парк

– Евгений Николаевич, – Арапов смотрит на меня как бы снизу вверх, хотя не намного ниже меня ростом, и в глазах его – какая-то восточного толка тоска, какая-то обреченность – быть здесь, сейчас, со мною, а не где-нибудь у стойки бара с рюмкой водки и бутербродом в руках или на стрелке со стукачом. – Что-то затевается, не знаю достоверно что, но... Одно знаю: подлянка! Нет, я не потому, я с благодарностью... Вы меня выручили когда-то... Одним словом...

– Что вы мямлите, как вас там?.. Арапов!

Я все еще величественен, однако же запрятанная в душе каждого из нас трусость уже ухнула и завертелась во мне. Неприятное, скажу вам, ощущение – внезапно образовавшаяся воронка, пропасть внутри самого себя! Не то чтобы мне было чего бояться, и однако же человек так устроен, и так тесен мир, и законы этого мира таковы, что никто не может чувствовать себя свободным от них, а значит, *не виноватым* никогда и ни в чем.

– Евгений Николаевич, я взаправду не знаю! Спросили о том, об этом – информацию всякую... Как бы между делом... Но, мне кажется, вас взяли в разработку.

Арапов сглатывает, передыхая: уф, сказал, и точка! – и густые восточные брови его страдальчески приподнимаются и тянутся к переносью.

У меня же, напротив, – и я это явственно ощущаю – лицо скомкалось и оплыло мышцами книзу, так что стыдно стало и этого ничтожного Арапова, и себя самого, курирующего по службе в прокуратуре области упомянутые выше подразделения, да еще умудренного опытом и сединами. «Настоящий полковник!» – с неподдельной издевкой шпыняла меня в сложные минуты жизни жена. Такой ли уж *настоящий*? Хотя, не в оправдание будет сказано, многие практики сыска и досудебного следствия сходятся во мнении, что легче всего на допросах «раскалываются» бывшие профессионалы – милиционеры, прокуроры, судьи, адвокаты, нотариусы. Они же «мусорят» безоглядно, то бишь на месте преступления оставляют за собой всяческие следы и наводки, прокалываются в ситуациях, где какой-нибудь среднего ума уголовник семь раз по семи поостережется.

«Что, Евгений Николаевич, накаркал с проклятой своей меланхолией? Напросился?! Получай свое “из ряда вон”»... – пеняю себе я, а вслух, выпятив губы, вопрошаю с неподражаемой интонацией прогрессирующего тупицы:

– И что же из этого следует, Арапов?

– Нет, пока ничего конкретного. Намеки там, типа: не может быть, чтобы у вас за столько лет службы и никакой коммерции – магазинчика, кафе или какой-нибудь посреднической конторы! Спрашивали: мол, что мы за опера, если не знаем, оформлено у вас все это на жену, на детей или родственников, а может, на любовницу? Сказали: раз *такая* крыша (это вы крыша), – под ней непременно должно что-то крыться. В смысле: кого-то вы прикрываете. А никто ничего и не знает. Тогда стали интересоваться: как вы в быту, с соседями ладите или есть конфликты и что у вас на стороне, какие привязанности и интересы: ну, там, бильярд с авторитетами, банька с девочками, антиквариат. Одним словом, всю подноготную...

– И?..

Арапов смотрит на меня с того рода удивлением, с каким глядят на обставленного флажками волка: что же, крепко попался? а ну как выпрыгнет – и за глотку!

– Нет, пока ничего конкретного. В смысле – никакого компромата. Все как бы между прочим, по мелочам, – тянет он с невольной проступающим на простоватом лице сожалением: не напрасно ли впутывается, к той ли стороне пристал, а ну как волк и не волк вовсе? – Но мы ведь не пальцем деланные, наша задача – понимать с полуслова. А еще, после всей этой

тягомотины, нас выпроводили, а доверенных оставили – для отдельного разговора: Деревянко, Костика, Смурного...

«Кажется, серьезно... – в моем мозгу наконец выкристаллизовывается из месива мыслей главная, и гудит, и пульсирует вместе с сердцем и наперегонки. – Но в чем причина? Из-за чего? Кому перешел дорогу? Ведь ничего в этом сволочном мире *так просто* не бывает!»

– Вот что, Арапов, – я медлю, как бы взвешивая каждое слово, хотя сознание сумеречно, в голове – каша, и сказать-то мне Арапову, по существу, нечего. – Вся эта бодяга, скорее всего, – проверка на вшивость. Типа: мы поставили задачу – информация засветилась, – значит, кто-то информацию слил, в управе «крот». И уже неважно, что слил – в прокуратуру... Поэтому первое: никому ни слова. Молчание – золото. Второе: поставленную задачу вам надлежит добросовестно выполнять. Третье: о выполнении и результатах первым должен знать я. Извольте купить новый стартовый пакет, а еще лучше – вместе с новым телефоном, но по мобильному не болтать, только где и когда!.. Ты-то сам нигде не засветился, парень? Может, это тебя пасут, и поэтому провоцируют – так примитивно и грубо?

У бедного опера округляются глаза и дрожат губы, он тяжело дышит – с прикладыванием руки к сердцу: мол, ни-ни, ни сном ни духом, ни в чем предосудительном не замешан! Что же, разумеется, это жестоко, но тревога, разделенная пополам, уже как бы и не тревога.

– Что думаешь делать дальше? – дожимаю я, отечески кладя руку на плечо Арапову.

– Сказано: по связям... Друзья, знакомые, женщины... Но я могу прикинуться шлангом...

Ни в коем случае! Если этот олух царя небесного о чем-либо пронюхает, значит, смогут узнать и другие. А ведь мне первому желательно дознаться: какая информация обо мне ходит по городу и, если таковая ходит – рано или поздно выплывет наружу? *Что* просочилось сквозь мое сито – сквозь молчание, полунамеки, жесты, неосторожные слова – и осталось незамеченным для меня, обмануло мою бдительность, из какого видимого пустяка может вырасти угроза?

И я, наклонившись к лицу опера, шепотом даю последние наставления: как будем поддерживать связь в дальнейшем, где станем встречаться, с какой периодичностью, и как поступать, если ситуация выходит из-под контроля или не терпит отлагательств.

Бедный Арапов! Сожаление о содеянном есть чувство запоздалое, сродни раскаянию, когда пути обратно уже не существует. Что значит наивность и неопытность, какой горькою стороной оборачиваются для нас привитые со старым режимом порядочность и простодушная честность! Какой-нибудь, как теперь говорят, продвинутый мент сидел бы теперь в теплом кабинете, обдумывая, как, у кого и где подсобрать на меня компромат, и мысленно вертел бы очередную дырочку на погоне. Арапов же по собственной инициативе, похоже, влип в историю: он теперь «свой среди чужих...» А находится между двух огней, да еще с остатками совести – не приведи господи!

– Не дрейфь, Арапов! Все будет путем! – ободряюще шепчу я, как шепчут супермены в бездарных отечественных фильмах, но, судя по всему, этот шепот не придает оперу бодрости. – Зовут-то тебя как?

Володя... Его зовут Володя, он вызывает у меня обыкновенную человеческую жалость и желание облегчить его участь – отпустить восвояси. Но мое сердце неумолимо висит над пропастью, а в таких условиях жалости места нет. Топор войны вырыт, кони топчут траву и бешено грызут удила. Вперед, Арапов! Что же ты, Арапов? Эх!..

А как давеча было уютно и покойно на этом свете: утро, февраль, снег! «Покой нам только снится...» Мало того что мы в муках рождаемся и умираем, – жизнь показывается для нас то с белой, то с черной стороны. Для чего это нужно? Чтобы душа не сморщилась от лени и не прилипла к желудку? Или мы, потомки тех, кого свергли из рая на грешную землю, обречены на страдания и грязь, дабы неповадно было вкушать запретный плод без Божьего соизволения?

Я гляжу с искренним сожалением, как вприпрыжку, заплетая ногами, скрывается за пеленой снега Арапов, и представляю в своей руке пистолет, щурюсь на убегающую спину сквозь мушку и, все так же сожалея, нажимаю на воображаемый курок: бац!..

И следом подступает откуда-то изнутри пустота, и всасывает в себя, точно вакуум, и пологит все и вся: сознание, мысли, ощущения, чувства... Господи боже мой! Господи, Боже мой! Что, о чем, для чего? Как беспокойно сразу и одиноко! Беспокойно – потому как мерещится за деревьями кто-то, глядит, сдерживая дыхание, отслеживает каждый шаг. Одиноко – потому как один на один со всем миром и спасение от этого мира – ты сам. И еще – вступает в действие притча о цепи и собаке: то ли ты держишь собаку на цепи, то ли она держит тебя...

Еще секунду-другую я топчусь на детской площадке, промелькивают в памяти пьющие из бумажных стаканчиков женщины, зримо и явственно – кровавая полоса помады по мятому бумажному краю, – и тут на меня накатывает неизъяснимое желание выпить, надраться и забыть обо всем.

«Ни в чем не виноват... Не за что так меня... Какая же гнида, а?!»

Но уже проскальзывает и иное: какие-то случайные и неслучайные лица, застолья, машина в гараже, дача на кудрявой опушке... В этом мире не бывает *невинных*! Каждый хотя бы раз оступается. Как говорят англичане, «у каждого свой скелет в чайном шкафу». Вот только наказывают далеко не многих – в основном за украденный доллар, а «...украдешь миллион – сделают сенатором».

Тут одиночество становится и вовсе невыносимым. Я оглядываюсь вокруг – все снег да снег, вот уж несет, прости господи, и оттого деревья в парке, сооружения и убогие скульптуры павшего соцреализма – сумеречные, размытые, как бы высывающиеся на минуту-другую из небытия. Прочь, прочь! Я иду, оскальзываясь, неуверенно переступая через припорошенные неровности асфальта, не зная, куда и зачем. Недавней февральской тоски нет и в помине – есть давящий ком в том месте, где должно находиться сердце, и ощущение полной потерянности в пространстве.

А что же Арапов? Как и не было никакого Арапова, словно сквозь землю провалился этот Арапов. Может быть, привиделся, думаю я в поисках успокоительной отдушины, может, это проклятый февраль своим неожиданным снегопадом наваял на меня необоримую душевную смуту? Но тогда... так бывает, по правде говоря, когда крыша едет. А ведь едет голубушка, как едет!..

Экая мерзость, или подалось слово еще гаже: экая *мерехлюндия*!

5. Мост

Однако нехорошо, не по-доброму устроена наша жизнь. Какой-нибудь сумеречный дурак изрек бы: непредсказуемо, – но мне судьба представляется распечаткой электрокардиограммы, где взлеты и падения означают жизнь, прямая же адекватна смерти. *Все хорошо* бывает только при отключенном сознании, в психиатрической больнице, в тесно очерченном пространстве – да и там вдруг захочется чего-то эдакого, какого-нибудь аленького цветочка. Но с другой стороны, неудовлетворенность, неприятность, беда для человека – некий жизненный стимул, призыв к движению, необходимость выказывать сопротивление, стремиться дальше и дальше.

Внезапно я представляю себя абсолютно счастливым, без желаний и огорчений, беспечальным дауном, и содрогаюсь – как если бы заглянул в зазеркалье, а оттуда глянуло мне в глаза *ничто*...

«Вот и хорошо, – говорю я себе с напускной бодростью, – вот и прекрасно! Пошла полоса спада. Вывод: надо поменьше спать! Какой, к черту, февраль! Немедля встряхнуться, прогнать по телу кровь! А то ведь не повернуть уже головы – в затылке треск, в позвонках соли; суставы ноют – из организма спиртным и лекарствами вымыт кальций. Ну уж нет, как говорят в Бердичеве, не дождетесь!..»

По покатою, скатывающейся к мосту через реку аллее я направляюсь неведомо куда – нагружаю ноги, точно в них одних для меня сейчас спасение. Но ступать твердо и решительно не удастся: подошвы скользят и разъезжаются, так что несколько раз я едва не взлетаю кверху башмаками. На мост меня выносит на предельной для моего возраста и комплекции скорости, я принужден хвататься по пути за перила и притормаживать, чтобы не стать – господи спаси! – подобием шара для боулинга и не покатиться, перемежая ноги с руками...

– А-а, чтоб тебя!..

Мост высок и длинен, глубоко внизу – обледенелые берега с черными прогалинами воды там, где быстрое течение вылизывает лед изнутри. Высота с детства внушала мне ужас. Но теперь, с усилием перебарывая легкую дурноту, я заглядываю вниз: что, взяли? не на того нарвались! Вода местами дымит, дым сумеречно-серый, свинцовый, сырой, тяжело ползающий у самых прогалин. Чуть в стороне, где лед толще и прочнее, над невидимыми с моста лунками – нахохленные, выдубленные спины рыбаков. Вот и еще один образец сиюминутного счастья: выковырять во льду отверстие в *иной* мир и пялиться туда, забыв обо всем на свете, кроме поклевки и выдернутого в чуждую, смертную среду несчастного пескаря!

А в *этом* мире, как оказалось, с некоторых пор ловят меня...

Итак, пока я один (только какая-то баба в платке, с мятым полупустым полиэтиленовым пакетом, чешет через мост на полусогнутых мне навстречу), нужно собрать мысли воедино, как говорится, сотворить систему из хаоса.

Если Арапов – дурак или путаник или имеет место быть какая-нибудь нелепость, если взять за основу сие предположение – тогда можно наплевать и забыть об этой истории.

Теперь следующий вариант: все всерьез. А если всерьез, то необходимо просчитать: я где-то прокололся? пасли кого-то и вышли на меня? – налицо тупой, элементарный заказ? Если последнее, то: кому-то не угодил? имеются виды на мою должность? другие возможные варианты?

Хуже всего, разумеется, если выполняют заказ: такая ситуация просчитывается наиболее сложно, заказчик до последнего станет выжидать и рядиться, скажем, в приятели, сочувствовать и выспрашивать о возможном моем противодействии (если находится рядом), а то и вовсе вынырнет в печальном финале, при передаче дел – от меня ему. Одно здесь ясно: человек он непростой, вхож на верхние этажи пирамиды, и потому вероятны влияния извне, наезды, указания или все вместе взятое. И еще: если подключили спецподразделение, а не учинили про-

стую и примитивную проверку работы отдела – значит... а это значит... Это значит, что заказ маловероятен. Или заказчик не близок к руководству прокуратуры и потому ищет компромат через людей, которых хорошо знает в других ведомствах.

Что ж, при таком варианте имеются плюсы. Например: операм ставят задачу, естественно, не разясняя причин. Нечеткая задача, в свою очередь, порождает нечеткое исполнение: нахватают того, что лежит на виду, а чего не сыщут – на то и суда не будет. Но есть и минусы: не станут бить в точку, пойдет распыление: каково происхождение, чем занимался до семнадцатого года, кто у него, то есть у меня, внучатая племянница?.. Примутся выискивать сомнительные связи, девочек с саунами, рыться в бумагах на недвижимость... И непременно что-нибудь выудят: ведь человек не живет в безвоздушном пространстве, какая-нибудь, образно говоря, инфекция нет-нет да и прилипнет.

– Если сдохнуть, то умело, чтоб на сердце праздник был! – бодрясь, мямлю я озябшими, непослушными губами стишок, придуманный мной когда-то для собственного ободрения в безвыходных ситуациях.

– Ась, сынок? – немедля откликается рядом бодрый старушечий голосок, и я, от неожиданности оскальзываясь на ровном месте, вижу в метре от себя ту самую бабку в платке, которая издалека шла по мосту мне навстречу и, неизвестно каким манером, вдруг вынырнула у меня под рукой. – Поддай, милый, на хлебушек сколько не жалко!

Я роюсь в карманах, сую в протянутую ладонь мятую бумажку, а сам искоса, чтобы не глаза в глаза, всматриваюсь в это субтильное существо, вплотную приблизившееся к черте жизни человеческой. У бабки размытые годами водянистые зрачки, но осмысленные и цепкие, как впившиеся в кожу стекляшки. А еще мне кажется, она ночами летает на помеле и, хохоча, пугает поздних прохожих. Точно в сказке: сейчас вот притопнет, прихлопнет и обернется ведьмой, – невольно думаю я, ощущая на загривке озноб. «Ах ты, гой еси, добрый молодец!» – или как там говорят эти бестии и произносят заклятие. Ну-ка? Нет, не произнесла. Сморгнула, пожевала губами, пошла – в свою жизнь, жить-доживать. Соприкоснувшись с моею. И что? Сравнить ее и меня – так она более естественна в этом мире. Более *создание Божье*, чем я. Без мысленных выкрутасов, без противоестественной профессии – преследовать подобных себе. И вот теперь открылась охота на меня. За что? В наказание за грехи, за бездушие, за преобладание плотского над духовным?

Может быть, догнать ее, дать еще денег? Пожалуй, нет. Пошло и глупо. Как если бы захотел откупиться: прижало тебя, а ты в церковь – авось попустит, авось воздастся за то, что ты нищим копеечку, а себе пряник!

Кроме того, я до смерти боюсь всех увечных, убогих, тронутых умом и стараюсь, по возможности, обходить стороной места их скопления – базары, вокзалы, больницы. Отчего так? Может быть, где-то в глубине души опасаясь, что пристанет и ко мне горе-несчастье, идущее вослед за такими людьми.

– Эх, чтоб на сердце праздник был!..

Мост опрокинулся, и река оказалась над головой, там, где должно быть небо: свесив голову, дрожа поджилками, я зачем-то впустил в себя пропасть – точно пытался искупить ужасом некий потаенный, глубоко запрятанный во мне грех. И еще – я как бы испытывал судьбу на вшивость: если кто подберется сейчас сзади и перекинет мои ноги через перила – помру от ужаса, едва долетев до середины.

Верно говорят: чтобы не трястись по жизни, нужно выбирать высоту по себе...

Я выпрямляюсь, встряхиваю отяжелевшей, налитой кровью, с шумом в ушах, головой: пожалуй, хватит на сегодня экспериментов – и поворачиваю с моста прочь.

Итак, надобно просчитать наиболее неблагоприятную ситуацию: разрабатывают именно меня. Так будет легче найти прокол и не ошибиться. Для этого необходимо в первую очередь прикинуть, чем я занимался последние год-два, какие дела через меня проходили, их резуль-

тат и, главное, какие компромиссы имели место быть – адвокаты, договоренности, просьбы о смягчении... Коллеги, знакомые, начальство... Перешептывания с судьями... Что еще? Главное – вычленишь, где была производственная необходимость, так сказать, рабочий брак, выравнивание ситуации (в морду бы этим следователям за их провальные дела!), где мягкотелость и беспринципность, а где... Гм!..

При этом обязательно учесть, кому отказано, кто может быть из-за этого зол, обижен, уязвлен, как этот *кто-то* может интерпретировать причины отказа.

Если же копают под кого-то и вышли на меня, то необходимо определить: кто и в чем засветился. Отсюда – круг друзей, знакомых, тех же коллег, адвокатов, судей, работников спецподразделений (вдруг между этими доблестными службами развязалась очередная война, а разменной монетой окажусь я?).

Теперь застолья: припомнить дни рождения, выезды на природу, сауны, наконец банальные пьянки. Кто из сомнительных и ненадежных, из бывших клиентов, а теперь нуворишей, честных предпринимателей, людей известных и уважаемых в определенных кругах, мог быть на этих застольях? С кем из них меня сфотографировали на память? И главное: что обещал, кому помог, какова помощь и как все это сообразуется с законом?

Кроме того, надобно перетрясти документы на ремонт дома: закупка материалов, оплата работ... С машиной проще, машина взята в кредит. А что в доме? А в доме ничего особенного – как у всех в наше жуликоватое время: аудио, видео, мягкие уголки, ну итальянская спальня и кухня из натурального дуба. Ну и что?! Бриллиантов у жены нет, швейцарские часы мне и не снились, яхты и валютные счета за границей – увы, тоже.

Потом – дача. М-м... Дача хромает, как старая кляча. А чего бы ей хромать? Здесь, собственно, два момента: выделение земли и приобретение леса под застройку. То бишь земельное управление, лесничество и кое-что еще...

Семья? Я вздыхаю, мне не хочется думать о семье: вот уже полгода, как жена съехала к теще – молча, без записки или скандала, без объявления причин, де-факто. Порой я ощущаю всем естеством, как оттуда, с улицы Садовой, исходит на меня огненная волна неприязни и застарелых обид, волна, объединившая двух родных, но совершенно непохожих одна на другую женщин. Так несет жаром от перегретой духовки, и в мгновения, когда во сне ко мне подкрадывается проклятый гипертонический криз, я как бы ощущаю всей кожей термический ожог от этого жара.

«Аннушка... – догадываюсь я о причинах размолвки. – Какая же сволочь сказала?!»

Вспоминая о жене, я испытываю двойственное чувство: нельзя не любить женщину, с которой из молодости пришел в зрелость, женщину во всех отношениях достойную и, кажется, любящую. Ну не смогла она родить мне ребенка – это печально, но для такого законченного эгоцентрика, как я, сие обстоятельство имеет определенный позитив. Кто знает, каким бы я стал отцом, обзаведись сыном или дочерью. Но есть и обратная сторона медали: порой от воспоминаний о нашей совместной жизни накатывает такая неудовлетворенность! Моисея, сорок лет водившего по пустыне несчастных иудеев, в порыве отчаяния соплеменники не раз порывались убить. Жена водит меня по житейской пустыне вот уже тридцать лет и три года, и всякое за эти годы было у нас. Что же нам с нею теперь делать? То-то и оно...

Так вот, могут использовать, не найдя ничего иного, как говорят в скабрзных анекдотах, «облико морале». Но тут уж ничего не поделаешь, многие осведомлены... Вопрос надо ставить по-иному: было ли у меня что-либо еще?

Оказывается, какая это гадость, какая мерзость, когда принимаешься копать в собственном несвежем белье!..

6. Зарипов и другие

Я отправляюсь в обратный путь – тем же бульваром, но сейчас это другой бульвар для меня. Мне уже не до снега и прочей мишуры – каждое лицо, встреченное, перебегающее дорогу, высовывающееся из-за дерева, кажется мне подозрительным. Например, те несколько человек в штатском у «Хромой лошади»: курят не так, как обычно, – сосредоточенно, молча, смотрят исподтишка; один из них, мордастый, с непокрытой головой, мелькнул давеча в парке... Или вон та машина у перекрестка – зачем в ней опущено боковое стекло? Чтобы некто неузнанный, с фотоаппаратом, по всей видимости сотрудник «седьмого отдела», сидя на водительском сиденье, мог незаметно щелкать кадр за кадром?..

За какие-то полчаса я превратился в человека, шарахающегося от внезапно качнувшейся ветки, вздрогнувшего куста, гортанно крикнувшей над головой птицы, чутко ощущающего спиной чужой взгляд, знающего, с какой стороны бьется сердце и как безысходно мечется по сосудам кровь. Если так пойдет дальше, за неделю-другую я стану душевнобольным, страдающим манией преследования, или сорвусь в штопор, и кому-то будет несдобровать: загнанная в угол крыса точно знает, где у врага сонная артерия... Почему крыса? Само по себе подумалось – или обнажилась суть моего подлого ремесла?

– Евгений Николаевич!

Черт! Только Зарипова мне сейчас не хватало!

– Здравия желаю, Евгений Николаевич! – начальник отдела по борьбе с организованными преступными группами Юрий Зарипов улыбается, точно стреляный лис: белозубо, радушно, но при этом взгляд повернут вовнутрь, и мне всякий раз мерещится, что Зарипов только кажется зрячим, а на самом деле отменно слеп.

Мы обмениваемся рукопожатиями, и я невольно улыбаюсь мысли, что так, скорее всего, обнюхиваются в соседнем дворе две задиристые собаки – деловито и настороженно. А еще в который раз думаю, что смуглолицый и черноволосый, с восточным разрезом глаз и плоским, точно продавленным от удачного боксерского удара носом Зарипов менее всего напоминает чертами лица монголоида; в управлении в шутку говорят, что он хоть и слез недавно с Говерлы, но и там был не ко двору: больно хитер и изворотлив, – и потому втихомолку зовут его «кошерным жидом».

– Суббота, Николаевич, или как?.. – с ходу берет быка за рога Зарипов, и его глазки умасливаются предвкушением маленького праздника, он явно намеревается теперь же выпить, видит во мне почетного собутыльника, и сие обстоятельство ему льстит.

Но вирус подозрительности уже пробудился во мне: подошел с тайным умыслом или мы встретились случайно? Не может быть, чтобы он ничего не знал: мальчишка Арапов знает, а подполковник милиции Зарипов – нет? Значит, темнит, соблазняет выпивкой неспроста. Вот тебе, друг ситный! – и я складываю в кармане для неудачливого соблазнителя фигу. Застолья не раз случались между нами, ибо начальственный синдром всегда был чужд мне по убеждению, особенно с людьми, к которым я расположен, – Зарипов один из таких. Однако теперь время оглядываться и искать всему, даже самому невинному и привычному для меня в прошлой, недавней еще жизни, свои побуждающие причины...

Я отрицательно качаю головой: мол, знаю, всякий раз зовешь в баню с девочками, а вместо этого заканчиваешь глубокой ночью в какой-нибудь затрапезной вонючей пивнушке – физиономией в рыбьей шелухе и пивной пене!

«Обижаете! – немедля прочитывается у того на лице. – В тот раз вышла накладка: крепко огорчило руководство, вот она, дурь, накатила и повлекла, одним словом – недоразумение, со всяким бывает... А теперь...»

Мимическая сцена вызывает у нас обоих невольный хохот: «кошерный жид» обмишурирует мещанина...

– Пить не буду, – говорю я, отдуваясь после смеха. – Изжога. А с вами ста граммами не обойдешься. Кроме того, мне через час-другой ехать за город. А какой-нибудь шумихер возьмет и выскочит на красный или, чего доброго, подрежет, и тогда поди оправдайся. Он и нарушит все, что возможно, вот только запах – от меня!

– С каких это пор, Николаевич, вы стали примерным водителем? Помнится, не так давно... А впрочем, хозяин-барин, – покоряется моему решению чуткий Зарипов.

Он, судя по всему, не слишком расстраивается отказом: у прохиндея и без меня на сегодняшний день – громадь планов. В каждом кармане у него наткано по мобильному телефону, телефоны беспрерывно журчат, и он то гавкает в трубку, то откладывает разговор на несколько минут, то обещает скоро быть и чтоб непременно его дождались, иначе «будет, как в прошлый раз», то умильно сюсюкает и перетекает на шепот, отворачивая от меня хитрое лисье рыло.

Я же тем временем всматриваюсь, прощупываю собеседника взглядом: знает и молчит? подослан с заданием разговорить? пребывает в неведении из-за добрых, насколько возможно в нашей насквозь прогнившей системе правоохранительных органов, отношений со мной?

– Николаевич, какой облом случился у Курбатова! – внезапно хихикает Зарипов, пристраиваясь идти со мной в ногу. – Слышали или нет? Так вот, в отделе Курбатова есть опер, который наполовину негр. Имя и фамилия у опера, естественно, наши: зовут его Максим, а фамилия сохатая – Лось... Да вы его знаете, он не совсем черный, а такой – светло-шоколадный... Ну так вот, у них там была отработка по линии торговли людьми – ловили «на живца» очередного сутенера. А этот Лось, если он негр, по сутенерским понятиям ментом быть не может. Однозначно не может! Так вот, получает наш Максимка под отчет деньги на операцию, поселяется в гостинице под видом бизнесмена средней руки, – легенда у него такая, кем еще быть в наши дни негру, как не бизнесменом? Поселяется, значит, и заказывает себе через сутенера проститутку. Приводят ему девку в номер. Она, как и положено, раздевается. И тут, в самый конкретный момент, вламываются в номер курбатовские бойцы, тащат с собой сутенера и, тепленького, потрошат. Сутенер обмочился, стал сливать информацию, каяться, повел оперов в соседний номер – и там еще кого-то на *этом деле* повязали... Прикол в другом: пора возвращаться на базу, все сидят по машинам, а нашего негра с проституткой нет и мобильный не отвечает. Туда-сюда, мало ли чего может случиться! Вернулись ребята в номер – а они там, Максимка с проституткой, и трудятся с наслаждением!.. Хотели надавать ему стгоряча по шее, но девка за него – грудью, да и он, Лось, не кается: все равно, говорит, уплачено, что же деньгам-то пропадать даром?!

– Боевой негр! – невольно улыбаюсь я. – Одного не пойму: в чем тут облом для Курбатова? Такой уж он борец за чистоту нравов?

– В том-то и дело: кто-то слил информацию, ушло наверх, а там могут расценить по-разному – с учетом политической целесообразности, вспышек на солнце, выпендрежа перед личным составом.

– Все будет как обычно: Курбатову попеняют, а негра – как там его?.. Максима Лосю повысят по службе. Борьба с торговлей людьми – дело деликатное, тонкое...

Зарипов ржет. Когда он смеется, верхняя губа вздергивается, обнажая желтые клыки, весь он становится похож на ощерившуюся гиену, и я говорю себе: таков смех прикормленного хищника, сытого, гортанно лающего, но безжалостного, когда начинается гон и идет резня. Все-таки профессия накладывает на человека отпечаток на всю жизнь. Хотя я знавал людей зариповской породы, в быту милых и обходительных. Значит, не профессия виновата – она всего лишь высвобождает то, что в тебе запрятано до срока: у хищника – жажду крови, у травоядного – жевательный инстинкт и трусость, у пернатого – жизненную необходимость укрыться на небесах...

Невольно я вспоминаю кличку Зарипова – Косоротов: говорят, в бытность простым опером он отличался рукоприкладством. Помнится, такой себе Яков Борзовец, в прошлом боксер, а ныне – темный тип, обоснованно подозреваемый в разбойных нападениях на нуворишей и базарных торговцев, но вывернувшийся от тюрьмы из-за недостатка улик, расписывал в слезных жалобах, что Зарипов якобы натягивал на голову ему, Борзовцу, противогаз, продевал колени между схваченных наручниками рук, крепил бейсбольной битой и в таком положении подвешивал между двумя письменными столами. Эта экзекуция не без издевки называлась у оперов «покачать на качелях». Тогда Зарипову изрядно потрепали нервы мои, прокурорские, но доказать ничего не удалось: возможные следы экзекуции ко времени проверки сошли на нет, а свидетельств в пользу заявителя в недрах управления внутренних дел, естественно, не нашлось. С тех пор Зарипов был прозван за глаза Косоротовым, со мной по возможности стал ласков и внимателен, а массивную золотую печатку, которой якобы стучал по затылку Борзовцу, приговаривая: «Стук-стук, кто там?» – раз и навсегда снял с крепкого волосатого пальца.

В душе я подозревал, что так оно и было на самом деле, и даже видел впоследствии эту самую битку за шкафом в кабинете Зарипова, но мало ли что я видел на своем веку!..

И вот мы идем, как два давних приятеля или, по крайней мере, два хороших знакомца, улыбаемся, травим о том о сем, – два здоровых и в общем-то незлых человека. А между тем где-то в недрах управления, подвешенный на бите, быть может, исходит слезами и мочой какой-нибудь очередной подозреваемый, но вовсе не значит, что виноватый... .

– Николаевич, скажите, как пресно мы живем! – без всякого перехода впадает в философию Зарипов. – Вот вы немного рыбак, немного охотник, когда вы в последний раз брали удочку или ружье? Так-то! А ведь в вашей конторе есть еще выходные... Суббота, гуляете по бульвару, не знаете, куда себя деть, а на мне после оперативки задач – как блох на собаке.

«То-то ищешь, с кем выпить! – думаю я, ухмыляясь. – Смотри-ка, задачи он выполняет!»

– Может, оформиться на пенсию, купить лодку, пожить для себя? В конце концов выслуга позволяет... Ехал вчера мимо Тетерева – рыбаки, свежий воздух, красота! Честное слово, иногда завидую. Но как подумаешь: один на один – с женой, и так каждый день... Бр-р! Уж лучше я на оперативку!

Мы останавливаемся возле памятника Пушкину и какое-то время молчим. Зарипов сосредоточенно роется в карманах, шуршит сигаретами, прикуривает от зажигалки. Масличные зрачки его, пятью минутами ранее, когда травил о Лосе с Курбатовым, казавшиеся по-человечески искренними и открытыми, становятся непроницаемыми, прикрываются выпуклыми, как у хамелеона, веками, и он становится похож на бесстрастную восковую фигуру из музея мадам Тюссо.

– Кстати, Николаевич, я снова поменял номер мобильного. Так, на всякий случай. И вам советую – раз в месяц-другой, во избежание... А? – Он покашливает, с усилием всасывается в притухшую сигарету, и при этом лицо его сморщивается, приобретает страдательное выражение ипохондрика; затем заглядывает мне в глаза. – Лишние люди отсекаются, кому сдуру или по пьяни засветил номер. Кроме того, в стране скоро выборы, борьба с коррупцией не прекращается ни на миг, а конкурирующая фирма не спит...

Мы оба, не сговариваясь, смотрим в ту сторону, где за поворотом, в каких-то пятидесяти метрах от противоположной стороны бульвара, таится бело-голубое здание со старомодным лепным фасадом – управление службы безопасности, в обиходе называемое нами «тройкой».

«На что он намекает, этот Зарипов? Старый прожженный опер никогда не будет болтать без надобности о серьезных вещах, тем более с надзирающим прокурором. Или решил, что по-приятельски можно? Что-то знает из поведенного Араповым, но не решается сказать? По крайней мере, ясно одно: телефонную карточку надо бы заменить».

– Был такой писатель Набоков, – зачем-то говорю я Зарипову, хотя знаю – тот не читает книг, говорю, скорее всего, о том, что сейчас держит в жестких пальцах мою душу. – Этот

Набоков написал когда-то: «Жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями».

Зарипов смотрит на меня, недоумевая. А может быть, хитрый лис, он все прекрасно понимает, но клоунская маска скудоумия уже стала для него вторым «я» и появляется на его физиономии без спроса, так сказать, на опережение?

Что же, и я не лыком шит, – в свою очередь, надеваю маску тайного всезнания, недоступного прочим, непосвященным, важно раскланиваюсь и на сегодня покидаю бульвары.

Но еще какое-то время я размышляю о природе человеческой мутации, благодаря которой внешне пристойный и порядочный человек внезапно и непостижимо превращается в скота, способного причинить боль и страдания себе подобному, беспомощному и лишенному возможности ответить тем же, надеть наручники и до потери сознания «качать на качелях», а после как ни в чем ни бывало продолжать жить, любить женщину, ласкать ребенка.

А с другой стороны, уговариваю себя я, без разумного битья ни один подозреваемый не станет говорить о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности. Как шутят сами же опера, признание – прямой путь в тюрьму. И потому усердный мент первым делом, пока шок у задержанного еще не прошел, торопится закатать над ним рукава...

7. Автомобиль

Автомобиль для меня – не друг или брат, не товарищ по одиночеству, а банальное средство передвижения. По возможности – средство безотказное и комфортное. Я получаю наслаждение от управления автомобилем, дорога меня успокаивает, гипнотизирует, если только на ней нет ям и неровностей, – и, однако же, я не люблю ездить бесцельно, мой «бараний» характер (по знаку зодиака я Овен, родился в начале апреля) требует всенепременного устремления вперед. При этом я вовсе не разбираюсь в назначении узлов и агрегатов: могу разве что заправить бензином бак, проверить уровень масла и заменить колесо. В остальном автомобиль для меня – диван на колесах, устройство которого покрыто мраком кромешным. До сих пор, будучи автолюбителем с двадцатилетним стажем, я не понимаю, как эта груда крашеного металла трогается с места и едет. Поэтому когда мой сосед по даче и бывший коллега Серокуров, с которым катим сейчас в дачный кооператив на моем «мерседесе», имея в прошлом автомобиль, лелеял и холил свое своенравное чудовище, как дитя, называл ласковыми именами, здоровался и прощался, я ехидно ухмылялся про себя: «Однако диагноз!» – но вместе с тем думал, что в этой любви, в этом единении человека и машины есть нечто потаенное и недоступное моему пониманию.

– Ешкин бабай! – с нежным присвистом, на полупшепоте восхищается Серокуров, трепетно прикасаясь к различным штучкам и кнопочкам на панели автомобиля. – «Мерин» есть «мерин»! Никакие джипы, эти американские ящики на колесах для перевозки фруктов и овощей, никакие сплюснутые, как если бы на них мамонт сел, «мазерратти» – только «мерин» в седане! Аристократизм, комфорт, мощь!

– М-м! – согласно киваю я, тем временем обдумывая иное.

– Вот скажи, положи руку на сердце: каких-нибудь двадцать лет назад ты думал, что пешему человеку нельзя будет свободно, а не инфарктными перебежками, перейти дорогу на перекрестке, что эта самая дорога будет напоминать натолканную селедочницу, потому как машин на ней, разных и всяких, немерено и неслучайно? Что будешь ездить на «мерседесе», звонить по мобильному телефону откуда пожелаешь и что на заднем сиденье у тебя будет валяться такая себе невинная штукавина – ноутбук? Что по телевизору станут показывать не маразматических генсеков, а глупых красивых теток, иногда голых?

– Красивых? По телевизору?

– Ну... Продюсерами там сплошь евреи, а у них у всех вкус изначально испорчен. Зато тетки голые! – загоревшись взглядом, частит Серокуров, видимо вспомнив о своем, сокровенном, – и тут же пригорюнивается: – А вообще, скажу тебе как на духу: бабы – это такая клоака!..

Лет шесть тому назад этот Серокуров, неплохой следователь по особо важным делам областной прокуратуры, из-за любви к женщинам и выпивке угодил в переплет, из которого по сей день выпутаться не может. Уголовное дело, увольнение, арест, затем освобождение из-под стражи, многолетняя судебная волокита... Патовая ситуация, когда нельзя осудить, но и оправдать нельзя... Как говорится, завис между двумя мирами. Точно в неисправном лифте: голова на шестом, ноги на пятом.

Я знал серокуровскую историю от других лиц: совестно было беречь человеку раны расспросами, тем более что сам он упорно молчал. Да если бы и заговорил, сказал бы всю правду? И хотя в подпитии он становился разговорчив, пригорюнивался, или, напротив, был злобен и задирист и что-то доказывал больным, надтреснутым голосом – как мозаику из кусочков складывал, кусочков этих явно не доставало: то он начинал с середины, то отматывал с конца, – и картина выходила ущербной. Мазки, а не картина. Другие же лица были недобросовестны или пристрастны, и потому я не мог сказать себе: *знаю достоверно*. А еще из-за слов и поведения Серокурова мне иногда казалось, что и сам он *достоверно не знает!*

Жена оставила его тотчас после неизбежной огласки обстоятельств уголовного дела, и Серокуров вернулся из изолятора временного содержания в пустую квартиру. Понемногу занимался адвокатской практикой, потускнел, меньше стал пить, а по субботам, что называется, садился мне на хвост – ехал со мной на дачу. Говорил, что там, в недостроенной времянке с самодельной чугунной печкой, ореховым шифоньером хрущевской поры и допотопным пролежанным диваном, неистребимо отдающим нашатырным запахом кошачьей мочи, оставаясь наедине с собой, он наконец-то понимает смысл и назначение жизни человеческой: заставить всех нас, засранцев, утереться после себя...

– Бог знал, что все мы засранцы, и Адам с Евой – первые из первых, только стыдно Ему было признаться, что напортачил! Вот и послал змия с яблоком, чтобы отыскался повод – навсегда выкинуть такое добро, как человек разумный, из рая.

Всякий раз, когда Серокуров принимался за философию, истово раскачиваясь в кресле-качалке, так что его драные шлепанцы то взлетали перед моим носом, то проваливались в преисподнюю, я снисходительно думал, что вот, мол, как сказываются на когда-то умном и рассудительном человеке неблагоприятные жизненные обстоятельства. В такие минуты мне, признаться, нравилась собственная снисходительность – со стороны. Она как бы подразумевала: ты, Серокуров, умный, да вот попался, а я нет, потому что тебя умней!

И вот теперь, когда бывший следователь молчит и думает о своем, я вдруг ловлю себя на мысли, что и мне уже есть о чем размышлять, что, вероятно, и у меня постепенно проявляется на лице печать глубоко озабоченного человека...

«А ведь на него, на Серокурова, *тоже* было заведено оперативно-розыскное дело, только не *моими*, не спецподразделением, а управлением уголовного розыска! Пасли его, выслеживали, как волки овцу, в сортир следом ходили», – приходит мне в голову внезапная мысль.

Мысль и радостная, и отвратная. Радостная потому, что чаша сия до теперешнего дня меня миновала. Отвратная – из-за подлого слова «*тоже*». Промелькнув в сознании, своей двусмысленностью оно занозит мне область, называемую подвздошной, – и я ощущаю эту занозу всем своим естеством. А еще невольно представляю себе микрофоны в укромных уголках квартиры и кабинета, под сиденьем автомобиля, принимаюсь высматривать «наружку» в зеркале заднего вида и даже подозрительно кошусь на Серокурова: а этот чего здесь?..

Собственно, так рано или поздно можно сойти с ума: клиническая мания преследования, фобии, беспричинная подозрительность, страх...

– Эй, что ты припустил по ямам? – слышу я голос Серокурова – гулкий и далекий, точно из морской раковины.

И в самом деле, на дороге выбоин, будто на коже после запущенной оспы, а я все уско-ряюсь со своим «мерседесом»: нога запала на педаль газа и занемела, как заговоренная каким-нибудь Кашпировским. Трудно, усилием воли, я сбрасываю газ и начинаю врать, на ходу придумываю какую-нибудь хохму из прокурорской жизни специально для Серокурова, тем временем налаживая сердцебиение, впрягая неровный, аритмичный стук в ритм обыденного выходного дня.

– Так вот, этот самый Саранчук десяток раз поднимал перед обедом гирию, а гирия – я тебе скажу!.. С ним, с этим Саранчуком, многие боялись поздороваться за руку, прятали ладонь за спину: очень болезненное было рукопожатие! К слову, мы с ним работали тогда в районе: я прокурором, а он у меня помощником. И вот после поднятия гири он по пояс обмывался во дворе под краном – и к себе в кабинет... А я, бывало, как задержусь на работе, так и слышу: в начале второго часа, в самый обеденный перерыв, женские каблучки – стук-стук, замок изнутри – щелк-перещелк, и тут уж у него включается на полную радио – обеденный концерт по заявкам...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.